



АНДРЕ ЖИД

Переписка Достоевского

<Фрагмент>

II

Не принадлежа ни к одной партии, боясь духа мятежа, вносящего разделение, он писал: «К тому же тут мысль все более меня занимающая: «в чем наша общность, где те пункты, в которых мы могли бы все, разных направлений, сойтись?» Глубоко убежденный в том, что «высшая русская мысль есть всепримирение идей» Европы, Достоевский, «старый русский европеец», как он себя называл, всеми силами своей души трудился ради этого русского единства, которое в великой любви к родине и к человечеству должно будет слить все партии. «Да! разделяю с вами идею, что Европу и назначение ее окончит Россия. Для меня это давно было ясно», пишет он из Сибири. В другом месте он говорит о России, как о «вакантной нации», «способной стать во главе общечеловеческого дела». И если, в силу убеждения, может быть лишь преждевременное, он заблуждался относительно значения русского народа (чего я отнюдь не думаю), то причиной было не шовинистическое увлечение, а глубоко проникновенное понимание принципов и страстей, определяющих партийный раздор в Европе, понимание, которым, — так ему казалось, — он обладал именно как русский. Говоря о Пушкине, он восхваляет его «способность всемирной отзывчивости» и прибавляет: «Способность эта есть всецело способность русская, национальная, и Пушкин только делит ее со всем народом». В русской душе он видит «склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению» и доходит до того, что восклицает: «Да и какой истинный русский не думает прежде всего о Европе!», до того, что произ-

носит изумительные слова: «Русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться».

Он убежден в том, что «характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа, в отдельных своих национальностях», ..взоры его все время устремлены на Европу; его суждения о политической и социальной жизни Франции и Германии относятся к числу самых интересных для нас мест в его переписке. Он путешествует, подолгу остается в Италии, Швейцарии, Германии, увлекаемый сперва своей любознательностью, потом целыми месяцами удерживаемый нескончаемыми денежными затруднениями, потому что ему не хватает средств продолжать путешествие, заплатить новые долги или потому, что в России он опасается встретить старых кредиторов и снова побывать в тюрьме... «С моим здоровьем, — пишет он в сорок девять лет, — я не вынесу и полугода в заключении публичном, а главное, ничего не сработаю».

Но за границей ему сразу же не хватает русского воздуха, соприкосновений с русским народом, нет для него ни Спарты, ни Толедо, ни Венеции; он нигде не может обжиться, нигде ему не по себе, хотя бы на миг. «Ах, Николай Николаевич, — пишет он Страхову, — мне так нестерпимо жить за границей, что и передать нельзя этого!» Нет письма, где бы не слышалась все та же жалоба изгнанника: «Надо в Россию. Здесь тоска одолевает». Кажется, будто тайные соки, которыми питались его творения, он черпал там, на месте, и они иссякали, едва он отрывался от родной почвы: «Не пишется, Николай Николаевич, или пишется с ужасным мучением. Что это — я понять не могу. Думаю только, что это — потребность России. Во что бы то ни стало надо воротиться». И в другом месте: «... мне Россия нужна, для моего писанья и труда нужна...» «Я слишком ясно почувствовал, что теперь, где бы ни жить, — оказывается все равно, в Дрездене или где-нибудь, везде на чужой стороне, везде ломоть отрезанный». И еще: «Одним словом, если б вы знали, до какой степени я чувствую себя здесь совершенно лишним и чужим человеком... здесь я тупею и ограничиваюсь, от России отстаю. Русского воздуха нет и людей нет. Я не понимаю, наконец, русских эмигрантов. Это — сумасшедшие».

Однако «Идиота» он пишет в Женеве, в Веве; «Вечного мужа», «Бесов» — в Дрездене. Но не все ли равно! «Про здешнее же писание вы говорите золотые слова; действительно я отстану — не от века, не от знания, что у нас делается (я наверно

гораздо лучше вашего это знаю, ибо ежедневно прочитываю три русские газеты до последней строчки и получаю два журнала), — но от живой струи жизни отстану; не от идеи, но от плоти ее, — а это ух как влияет на работу художественную».

Таким образом, эта «всемирная отзывчивость» сопровождается и подкрепляется пламенным национализмом, который в сознании Достоевского является ее необходимым дополнением. Он неустанно, без конца возмущается теми, кого там в то время называли «прогрессистами», то есть (такова мысль Страхова) против «политиканов, которые ждут прогресса от русской культуры, — не от органического развития народных основ, а от поспешно усвоенных уроков Запада. «Француз прежде всего француз, а англичанин — англичанин, и быть самим собою их высшая цель. Мало того: это-то и их сила». Он восстает против людей, которые делают русских беспочвенными, и, задолго до Барреса, предостерегает студента, который, «отрываясь от общества и оставляя его, уходит не к народу, а куда-то за границу, в «европеизм», в отвлеченное царство небывалого никогда общечеловека, и таким образом разрывает и с народом, презирая его и не узнавая его». Совершенно в духе Барреса и его суждений о «нездоровом кантианстве» он пишет в объявлении о подписке на редактируемый им журнал*: «Как бы ни была плодотворна сама по себе чья-нибудь захожая к нам идея, но она лишь тогда только могла бы у нас оправдаться, утвердиться и принести нам действительную пользу, когда бы сама национальная жизнь наша, безо всяких внушений и рекомендаций извне, сама собою выжила эту идею, естественно и практически, вследствие практически сознанной всеми ее необходимости и потребности. Ни одна в мире национальность, ни одно сколько-нибудь прочное государственное общество еще никогда не составлялось доселе по предварительно рекомендованной и заимствованной откуда-нибудь извне программе». И у Барреса я не встречал утверждений ни более решительных, ни более настойчивых.

Но, будь сказано совершенно мимоходом, вот замечание, которого, к сожалению, мы у Барреса не найдем: «Способность отрешиться на время от почвы, чтобы трезвее и беспристрастнее взглянуть на себя, есть уже сама по себе признак величайшей особенности; способность же примирительного взгляда на чужое есть высочайший и благороднейший дар природы». Впрочем, Достоевский как будто не предвидел, до какого ослепления

* Объявление о подписке на журнал «Эпоха», которое Биншток дает в виде приложения к переписке.

должна доводить нас эта доктрина: «Француза никогда не разуверишь в том, что он первый человек на всем земном шаре. Впрочем, о всем земном шаре, кроме Парижа, он весьма мало знает. Да и знать-то очень не хочет. Это уж национальное свойство и даже самое характеристичное».

От Барреса он еще более четко и еще более выгодно отличается своим индивидуализмом. А по сравнению с Ницше он становится для нас замечательным примером того, как мало самовлюбленности и самодовольства может иногда требовать эта вера в ценность собственного я. Он пишет:

«Ни из какой цели нельзя уродовать свою жизнь»; ибо, с его точки зрения, без патриотизма, равно как и без индивидуализма нет никакой возможности послужить человечеству. Если иного барресиста и завоевали утверждения, сначала процитированные мною, то где тот барресист, которого эти последние высказывания не восстановили бы против Достоевского?

Точно так же — где тот французский католик, который, читая вот эти строки: «Нравственное основание общества, взятое из позитивизма, не только не дает результатов, но и не может само определить себя, путается в желаниях и в идеалах. Неужели, наконец, мало теперь фактов для доказательства, что не так создается общество, не те пути ведут к счастью, и не оттуда происходит оно, как до сих пор думали? Откуда же? Напишут много книг, а главное упустят: на Западе Христа потеряли... и оттого Запад падает, единственно оттого», — не пришел бы в восторг, если бы уже не натолкнулся на замечание, которое я сперва опустил: «На Западе Христа потеряли по вине католицизма»? Где тот французский католик, который теперь посмеет умилиться слезами благочестия, наводняющими эту переписку? Тщетно Достоевский пожелает «разоблачить перед миром русского Христа, миру неведомого, и которого начало заключается в нашем родном православии», — французский католик, в силу собственного своего правоверия, не захочет слушать, и тщетно, по крайней мере с точки зрения нашей современности, присовокупит Достоевский: «По-моему в этом вся сущность нашего будущего цивилизаторства и воскрешения хотя бы всей Европы и вся сущность нашего могучего будущего бытия».

Точно так же, если г-ну де Вогюэ Достоевский дает повод, усмотреть в его произведениях «ожесточенную борьбу с мыслью, с полнотой жизни», «освящение идиотизма, пассивности, бездеятельности» и т. д., то, с другой стороны, в его письме к брату, отсутствующем у Бинштока, мы читаем: «Там все люди простые, —

говорят мне в ободрение. Да простого-то человека я боюсь более, чем сложного». Молодой девушке, желавшей «быть полезной», выразившей ему свое намерение стать сиделкой или акушеркой, он писал: «... можно бы, занявшись правильно своим образованием, приготовить себя на деятельность во сто раз более полезную, чем темная и ничтожная роль какой-нибудь фельдшерицы, бабки и лекарки... не лучше ли бы теперь заняться высшим образованием... большинство наших специалистов — все люди глубоко необразованные... А большинство студентов и студенток — это все безо всякого образования. Какая тут польза человечеству!»

Разумеется, мне и без этих слов было понятно, что г. де Вогюэ заблуждается, но как-никак ошибка была возможна.

Не легче завербовать Достоевского и в ряды сторонников или противников социализма; ибо хотя Гофман в праве сказать: «Достоевский никогда не переставал быть социалистом в самом человеческом смысле этого слова», то разве не читаем мы в его переписке: «Уж и теперь социализм проел Европу, а к тому времени уже подточит все окончательно».

Являясь консерватором, но не поборником традиций, монархистом, но демократом, христианином, но не католиком, либералом, но не «прогрессистом», Достоевский остается человеком, которым мы не знаем, как распорядиться. Он способен доставить неудовольствие любой партии. Ведь он никогда не воображал, что для роли, которую он на себя берет, хватит даже всего его ума, — или же, что ради непосредственных целей он имеет право фальшивить, искажать звуки этого бесконечно нежного инструмента. «По поводу всех этих возможных направлений, — пишет он, и слова подчеркнуты им, — слившихся в общем мне приветствии (9 апреля 1876 года), я и хотел было написать статью, а именно впечатление от тех писем (без обозначения имен). К тому же, тут мысль, всего более меня занимающая: «в чем наша общность, где те пункты, в которых мы могли бы все, разных направлений, сойтись?» Но, обдумав уже статью, я вдруг у видел, что ее со всею искренностью ни за что написать нельзя; ну, а если без искренности, то стоит ли писать?» Что он хочет сказать? Вероятно, следующее: чтобы эта злободневная статья понравилась всем и чтобы успех был ей обеспечен, ему пришлось бы совершить насилие над своей мыслью, упростить ее сверх меры, наконец, взвинтить свои убеждения, лишив их естественности. На это он не может согласиться.

В силу индивидуализма, чуждого прямолинейности и совпадающего с простой честностью мысли, он не соглашается пред-

ставить свою мысль иначе, как во всей ее сложной полноте. И это самая важная и самая сокровенная причина его неуспеха у нас.

Я не хочу сказать, что сильные убеждения обычно влекут за собой несколько нечестную аргументацию; но логичность для них не необходима; и все же г. Баррес слишком умен, чтобы не понять сразу, что всего быстрее мы проведем в свет какую-нибудь идею не путем всестороннего и беспристрастного ее освещения, а энергично ее подталкивая в одном определенном направлении.

Чтобы обеспечить идее успех, следует выдвигать только ее одну, или, если угодно, чтобы достигнуть успеха, следует выдвигать только одну идею. Найти удачную формулу еще недостаточно; важно не выходить за ее пределы. Встречаясь с каким-нибудь именем, публика желает знать, чего держаться ей, и не выносит того, что затуманивает ей мозги. Когда говорят: Пастер, — она рада, что сразу же может подумать: ах, да, бешенство; Ницше? — сверхчеловек; Кюри? — радий; Баррес? — земля и мертвецы; Кенуон? — плазма — совершенно в духе: Борнибюс? — фабрикант горчицы. И Пармантье, если это правда, что он «изобрел» картофель, пользуется благодаря этому единственному овощу большей известностью, чем если бы мы были обязаны ему всеми овощами нашего огорода.

И на долю Достоевского чуть было не выпал во Франции успех, когда г. де Вогюэ придумал назвать «религией страдания» и таким образом определить удобной стереотипной формулой учение, которое он нашел в последних главах «Преступления и наказания». Пусть оно в самом деле заключается в этих главах, и пусть формула найдена удачно... К несчастью, она не покрывает объекта; он совершенно не уместается в ней. Ибо если Достоевский был из числа тех, кто «нуждается в одной единственной вещи: в познании Бога», то во всяком случае это познание Бога он хотел показать в своем творчестве во всей его человеческой и тревожной сложности.

Ибсена тоже нелегко было упростить, как и всякого, чье творчество является более вопрошающим, чем утверждающим. Относительный успех двух драм: «Кукольный дом» и «Враг народа» вызван вовсе не их достоинствами, но объясняется тем, что Ибсен дает в них подобие вывода. Публику плохо удовлетворяет писатель, не приходящий в конце к какому-нибудь остроумному решению, она видит в этом недостаток уверенности, ленность мысли или слабость убеждений; а так как чаще всего она плохо умеет ценить ум, то мерилом убеждений писателя служит для нее лишь страстность, настойчивость и однообразие его утверждений.

Отнюдь не желая расширять рамки темы, уже и без того столь обширной, я не буду сейчас пытаться точнее определять взгляды Достоевского; я хотел только указать на противоречия, которые в нем заключаются с точки зрения западного сознания, не привыкшего к примирению крайностей. Достоевский остается в убеждении, что противоречия между национализмом и европеизмом, индивидуализмом и самоотречением только кажущиеся; он думает, что противоположные точки зрения, учитывающие каждая лишь одну сторону этой жизненной проблемы, одинаково далеки от истины. Я позволю себе еще одну цитату; она лучше всякого комментария покажет точку зрения Достоевского*: «Что же, скажете вы мне, надо быть безличностью, чтобы быть счастливым? Разве в безличности спасение? Напротив, напротив, говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо в высочайшей степени, чем та, которая теперь определилась на Западе. Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер — можно только сделать при самом сильном развитии личности. Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может и сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы, к этому тянет нормально человека».

Это решение указано ему Христом: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сохранит ее».

Вернувшись в Петербург зимой 1871–1872 года, в пятьдесят лет, он пишет Яновскому: «Что же, надо признаться, старость подходит, а меж тем и не думаешь, все еще располагаешь писать новое (он работал над «Карамазовыми»), что-нибудь издать, чем бы, наконец, сам остался доволен, ждешь еще чего-нибудь от жизни, а меж тем, может быть, уже все получил. Я про себя вам повествую. Что ж, я вполне счастлив». Всю жизнь До-

* Она взята из «Опыта о буржуа», одной из глав «Зимних заметок о летних впечатлениях», перевод которых г. Биншток очень кстати приложил к своему изданию переписки.

стоевского, все его творчество тайно проникает это счастье, эта радость, достигнутая страданием, радость, которую прекрасно сумел почуять Ницше и которой совершенно не заметил г. де Вогюэ, что я в первую очередь и ставлю ему в упрек.

Тон писем этого последнего периода резко меняется. Его обычные корреспонденты живут, как и он, в Петербурге, и пишет он уже не им, а неизвестным, случайным корреспондентам, которые просят наставлений, утешения, руководства. Цитировать нужно было бы почти сплошь; лучше отослать к самой книге; привести к ней моего читателя — единственная цель этой статьи.

Освободившись, наконец, от своих страшных денежных забот, он в последние годы жизни берется за издание «Дневника писателя», появлявшегося с перебоями. «Вам дружески признаюсь, что, предпринимая с будущего года «Дневник» (на днях пускаю объявление), часто и многократно на коленях молился уже Богу, чтоб дал мне сердце чистое, слово чистое, безгрешное, нераздражительное, независтливое» — пишет он Аксакову в ноябре 1880 года, то есть за три месяца до смерти.

В этом «Дневнике», где г. де Вогюэ мог усмотреть лишь «непонятные гимны, не поддающиеся ни анализу, ни логическому обсуждению», русский народ увидел, к счастью, нечто другое, и Достоевский мог почувствовать, как вокруг его творчества осуществляется мечта о единстве, достигнутом без всякого насилия?

При известии о его смерти ярко сказалось это единение и смятение умов, и если сперва «разрушительные элементы общества собирались насильственно захватить его тело», то вскоре оказалось, что «благодаря одной из тех неожиданных реакций, тайна которых открывается России, когда ее одушевляет национальная идея, все противники, все разрозненные лоскутья империи связаны воедино общим энтузиазмом». Слова принадлежат г. де Вогюэ, и я рад, что после всех тех замечаний, которые вызвала у меня его работа, я могу процитировать эту полную благородства фразу. «Если первых русских царей называли «собирателями» земли русской, — пишет он дальше, — то этот царь в области духа был собирателем русского сердца».

Такое же собирание сил происходит благодаря Достоевскому и в Европе — медленно, почти таинственно, — главным образом, в Германии, где число изданий его произведений растет, а затем и во Франции, где новое поколение понимает и ценит его лучше, чем современники г-на де Вогюэ. Скрытые причины, замедлившие его успех, обеспечат этому успеху прочность.